

18+

Светлана Мысина

БЫТ БЫТИЯ

Цикл рассказов

Decameron



Светлана Мысина

Быт Бытия. Цикл рассказов

«Издательские решения»

Мысина С. И.

Быт Бытия. Цикл рассказов / С. И. Мысина — «Издательские решения»,

Книга являет собой сборник рассказов, где через быт поданы эпохи, нравы, времена. Это бытовая русская философская проза, показывающая человека в самых разных жизненных ситуациях. История пса Волгограда, режиссёра Егора, простой женщины Гальки и Декамерон на русский лад, где сшиты три века в десяти новеллах, поразят и искушенного читателя, и массового. Написано плотным синтаксисом, зло, литературно, жизненно.

© Мысина С. И.

© Издательские решения

Содержание

Мой солнечный удар	6
Глава-интерлюдия два	7
Глава-интерлюдия три	8
Глава-интерлюдия четыре	9
Крестины	10
Егор. Сто моих лет, которые ты мне отмерила	13
Глава первая	13
Глава вторая	14
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Быт Бытия

Цикл рассказов

Светлана Ивановна Мысина

© Светлана Ивановна Мысина, 2026

ISBN 978-5-0071-1793-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Мой солнечный удар

*От Кореи до Карелии
Сам не ведаю, что делаю
Пикник*

Однажды ко мне пришла двоюродная сестра Галька, лет сорока, с двумя гнилыми передними зубами, которые улыбались всегда завистливо-зло. Пока её залихватский язык летал во рту с первой космической скоростью, эти зубы, казалось, размягчались и двигались в унисон со всем ртом. Но под этим всем скрывалась робкая, почти детская улыбка, которой она была наповал перед тем, как сказать дерзость и срезать, подскрылить до печёнок хамством.

— Вот, мамка не говорит «иди, купи вафельницу». Она звонит и говорит: «приди ко мне». И трубку бросает. Чё там у неё? Плохо ей или хорошо? Зачем звонила? Один раз пришла, а она мне огурцов горьких набрала. А мой Сашка их не ест. Не ест, понимаешь! И только орёт.

К концу вечера у всех гостей разболелась голова от её визгливого голоса. А мы собрались с моими московскими племянницами повидаться и посидеть «девчонками». Галька впила всё вино, съела всю закуску и во хмелю была ещё более визгливой, ещё более язвительной.

Что и говорить, вечер удался. Её крик ещё долго стоял у меня в ушах, как дешёвый звон в сломанном радиоприёмнике, пока гости расходились по тёмным тамбовским улицам.

Глава-интерлюдия два

Я встретила её спустя два месяца — пришла пора готовить её детей к ЕГЭ — и не узнала. Так похорошела она, помолодела, местами похудела (жаль, не теми). И только глаза хранили какой-то горький блеск и точили один вопрос: «Ну почему всё так?». Такие глаза я видела у фронтовиков и у детей, стоящих на пепелище собственного дома.

Вот что она рассказала:

— Мой Сашка стал другим. Он орёт. Он изводит. Он больше не любит меня. Я так хочу немножечко ласки... Бывает по-другому? Вряд ли. Мы вместе уже двадцать лет. Остыли. Пробовала заставлять — да разве ласку вырвешь? Орала — не помогло. Молчала — ответил тем же. Кира однажды пришла после ОГЭ, трясётся, вся зеленая. Поскандалили. Я говорила, что нельзя так переживать, Сашка орал, что Кира всё должна сдать на «пять». А Кира только тряслась, синела и даже плакать не могла. Дали валерьянку. Ещё поскандалили.

Я ушла гулять в ночь, и все бездомные собаки, которых я подкармливала на пустыре, молча бросились за мной в темноту, грея своими боками мои холодные колени. Домой я вернулась пустая, свинцовая, мечтаю только об одном — чтобы меня не трогали.

И вдруг самым ранним утром, когда небо ещё было серым и плоским, Сашка подошёл к кровати, звеня ключами от машины, и заявил:

— Я снял номер на сутки. Тут недалеко. Поедем.

Такого не было никогда. Никогда. Номер? Гостиница?

— Саш, ты заговариваться стал, — сказала я.

Обиделся.

Глава-интерлюдия три

Номер был пошловат. Красные шторы на красных окнах, тяжёлые портьеры, подхваченные подвязками-шнурками, алые подушки и покрывало цвета бургунди. Рядом стоял мини-бар, столик, чайник. Вай-фай. Пароль — 12345678. Без пробелов.

Она подошла к столу, раскладывала вещи, и пулемётная очередь мёртвых слов строчила из неё без остановки. Она трещала без умолку, спасаясь от этой красной духоты.

Он просто подошёл сзади и взял её за руку. Посмотрел.

В ней внутри всё перевернулось. Так он не смотрел на неё никогда — ни на свадьбе, ни при знакомстве, ни при выписке из роддома. И поцеловал. Нежно. Крепко. Сладко. Наотмашь в губы.

Она будет вспоминать этот поцелуй весь свой короткий бабий век и не понимать, отчего краснеет.

Как старый, заржавленный механизм, давно не работающий, оказывается невесть как в руках искусного мастера, и тот берет маслёнку, мягкую тряпочку и долго, плавно, слой за слоем возвращает ему жизнь, — так и их первый раз был подобен настройке механизма, на ржу которого давно плюнули — нехай будет так!

Она смотрела на него другими глазами — удивлённо, ошалело, немигающе, ловя ртом горячий воздух номера. Всё, чем она жила двадцать лет, осыпалось с неё сухой штукатуркой. Он бережно убрал с её лба прилипшую влажную прядь волос и тихо, как когда-то в их первую весну, улыбнулся:

— Пошли обедать, жена.

В приятельном кафе пахло жареным луком и дешёвым уютом.

На обед подали суп с лососем и жирнющие макароны по-флотски. Ели с аппетитом.

Вернулись в номер. Посмотрели телевизор.

— Помнишь, как мы на шашлыки ездили в две тысячи втором?

Поговорили. Повспоминали.

Она села за столик, налила вина, поправила лёгким жестом волосы у виска — и он вдруг узнал в ней ту, которую полюбил когда-то. Сел рядом, приобнял.

Настала ночь. Занавески от приоткрытых форточек мерно колыхались, электронный камин горел, вино было допито, но страсть не улеглась, а засияла с новой силой.

Глава-интерлюдия четыре

Утро тамбовской гостиницы было приветливым и ясным. Тихо щебетали воробьи и скворцы, тихо шелестели листья заглядывавшей в номер берёзы. Спали мало.

У него на губах остался вкус её кожи — мягкой, пахнувшей чабрецом и тмином. А у неё на губах звучал вкус юности. С таким чувством она когда-то перебрасывала сапоги через забор, пролезала в окно и сбегала на дискотеку в клуб — тайком от мамки.

Позавтракали. Он рассказал о ремонте машины, о патрубках и ремне ГРМ, который «уже подходил». Она молчала. Впервые в жизни молчала. И не знала, что в молчании может быть столько покоя.

Но когда они вернулись домой, этот покой мгновенно начал таять, вытесняемый привычными запахами застоявшейся квартиры — старой заваркой, невымытыми тарелками, пылью на подоконнике. Она не кинулась мыть посуду, не побежала кормить собак. Просто села на диван, а дети уже обкладывали её своей шумной, привычной суетой, затягивая обратно в колею. Жизнь возвращалась на круг. Замкнулась.

«Отчего так хорошо? Отчего так покойно?»

А вечером колея дала трещину. Кира разлила молоко по кухне, вытерла — неумело, размазав белую жижу по полу. Он увидел. И не промолчал. Орал. Как всегда. Как помешанный. Будто это она разлила молоко, будто это она сломала ему всю жизнь.

Странное, горькое чувство горело в груди. Она вышла в коридор, села на банкетку, ослабила узел платка на шее — хотя он был затянут не туго. Не с первого раза попала руками в вывернутые рукава любимого худи.

Она ходила по знакомым тёмным улицам машинально, с трудом передвигая ноги. Всё ныло внутри. Мыслей не было, и чувства ушли. Остался только слух: в какой-то припаркованной машине сидел водитель и слушал «Пикник»: «От Кореи до Карелии... сам не ведаю, что делаю».

«Да, — подумала она, глядя в чёрное небо. — Не ведаю. И никто не понимает. И живёт впотьмах. Все впотьмах. Меня, тёмного, прости».

Ещё два месяца потом ей все говорили, что она удивительно помолодела, хорошо выглядит.

И её внутреннюю, выжженную пустыню не заметил никто.

Крестины

Вспоминается мне ранняя погожая осень. В том году стоял удивительно теплый и сухой сентябрь — настоящий пятый месяц лета. Медовый Спас подарил мне Вероничку — маленького и теплого младенца, про которого Бог говорил мне во сне — будет хорошим человеком.

Начался второй класс для моего первенца, неизбывные заботы и тяготы быта и бытия, метели той обыденной мелочи и пыли жизни, которые я ненавижу. Сразу заболел Юра, мой старший сын, одаренный абсолютным слухом, голубыми глазами и той нервной, возбудимой сущностью, которая идет сражаться в арьергарде войны или бросается в самую гущу эпидемий на спасение человечества, а потом устало смотрит на закат, глотает зачумленный воздух и словно сливается с этим миром, жестоким и стремительно прекрасным.

Нужно было быстрее назначить время крестин — я не могла выбрать крестных, нужно было начинать жить — я не могла оставить свои страхи. Решено в итоге было взять отца Николая — моего кума, Марию — крестницу, юную, тоненькую, как стебелёк рогоза девушку, скромную и чистую, в которой, однако, бушевал океан страсти и нерастраченной любви. Она уже вступала в ту самую пору, когда женское сердце хочет любить, любить безответно и сильно, радостно отдаваясь встрече с судьбой. Гостей хотели собрать немного — наши родители, брат мужа и его жена, их великовозрастная дочь Иришка, свекровь и наши крестные со своими семьями.

Это было утром 30 сентября — празднование великого и скорбного праздника мучениц-девиц, которые непоколебимо своей кровью засвидетельствовали верность Христу и удостоились райских обителей. Храм был сырой, промозглый и недостроенный. Яркий солнечный день, необыкновенная для сентября жара, которая давила и топила тела, лишь иногда сдвигаемая ветерком, ужасно контрастировали с подвальным храмом, которому нужны еще были работы и вливания разного рода. Необыкновенно долго длилась исповедь, люди не собирались исправляться, но усердно и дотошно делились страстишками и мыслишками, будучи наверняка пленены мысленными волками.

Началось крещение. Я стала усердно молиться, храм мне не нравился. Все было тускло и уныло.

Вдруг на меня спустилась такая благодать и я так возжаждала Богообщения, что предо мной вдруг растворились стены, хотя все еще ясно были видны простые иконы в обычных киотах, тусклый свет люстр, вышкрябанная плесень на полу, — все это исчезло, густой слой благодати залепил мне уши, глаза и уста, я увидела образ Божий в стоящих рядом людях, заметила чистоту и кротость крестницы Машеньки, она так торжественно пела верую, с такой верой и непобедимым упованием на Него, что я впервые в жизни поняла — мы одной крови. Мария держала «тимбукточку» (так я называла своего маленького младенца) на руках — они были так невинны, что мне хотелось ощутить присутствие Духа Святого на обеих.

На обед после крестин к нам не пришел никто.

Вчера я читала в Евангелии от Иоанна притчу о царствии небесном. Женише наш, ты звал друзей на пир, но один женился и возлег с молодой женой, томясь иссушенным желанием познать ее, другой — нетерпеливой рукой уздал сильных волов, гнал их на пашню, третий был обременен заботами суеты, четвертый закрыл свои очи тяжбами и мздами. И ты собрал, Отче, хромых и больных, убогих и нищих и они зашли в роскошные палаты и возлегли на мягкие и приятые ткани, лелеющие кожу, ласкающие тела и приводящие в восторг души; они подняли глаза свои и узрели величие Твоих покоев, сладость твоего голоса усладила их уши, ибо речи твои сладки, как мед, как торт праздничный, заказанный, построенный из хрупких, хрустящих коржей, смазанных ароматным кремом, лимонно растекающимся, тающим сливочным послевкусием в устах. И лишь один из них был не в брачной одежде...

Свекровь приготовила селедку и три вида лаваша с начинками, мама испекла знаменитых трегуляевских котлеток, которые славились по трем селам во всей нашей родне, за котлетки эти глупые деревенские парни продавали вою свободу гордым девам Бактрии — обтамбовившимся, обгородившимся женщинам, свято желающим выйти замуж и захомутать мужичка; а я же — прибрала полы! Все было готово, собрались родители и маленькая Вероничка, вся еда была вкусна и пышела свежестью — и так пахла. Убранный дом ждал гостей, стол был сервирован, сердца наполнялись умилением от лицецерения чуда новой жизни, трапеза убо обильна, пусть же все войдут в радость мою!

Но тут позвонил Вовка — он ехал осаждать грузовыми машинами заказы жены, ленка, жена, сама была крестной в тот день, Иришка якшалась с парнем, крестный отец Николай уехал на требы и отдохнуть после утренней службы перед вечерней, старики-родители его оказались немощны и отказались, Машенька ушла на преглупый митинг, с которого не смогла отпроситься, вместе с ней ушла и ее мать Алла. Варька, приглашенная накануне, пошла покупать костюм жениху, с которым венчалась на покров.

Скорбью наполнилось мое сердце, никто не пришел почтить Вероничку. Я прочувствовала на себе горе хозяина пира, поняла его приготовления, предвкушение трапезы расслабляющих от напряжения жизни душ, поняла чувства.

Мы ели и много осталось места много осталось еды. Но торта не было. И тогда я пошла за десертом, и поступила как хозяин пира — стала звать всех войти в радость мою. Но люди благодатно грелись на осеннем солнышке и не хотели праздновать. И я стала дарить. Я дарила любовь и сладости и и сладости любви — соседским мальчикам, которых юра звал идиотами за их задиристый нрав, их матери с завистливым черным взглядом, деде Игорю, пропойному пьянице с маленькими глазами и огромным рябым носом, сироте соседке Нине, ее жизнерадостной, ищущей позитив во всем дочери Аленке.

Радостью наполнилось сердце мое.

День догорал, десерт был съеден, а дети угнаны в велопоход, я допивала липку и читала притчу о злых виноградарях, потом пошла в сад и срезала несколько гроздей Августина и красотки, которые впервые в своей короткой виноградной жизни довегетировали до желтых листьев своей истинной лозы.

Постскриптум после рассказа.

Мы сидели с Машенькой в моем саду, славящемся запущенностью, на нашей «палубе» — деревянном помосте над клумбой-хостовником после крестин, вспоминали ее детство, как я приходила поздравлять ее с днем рождения. Смеялись. Чай с лапсангом был уже выпит. Хосты от вечерней росы на чешуйчатых листьях напоминали больших черепах, отдыхающих после долгого дня в тени. Настала та минута вечера, когда люди смотрят на закат, молчат о своем и хотят, чтобы их поняли. Хоть раз в жизни. Машенька достала розовую старую тетрадь с авокадами на обложке и протянула мне.

— Что это?

— Мой дневник.

Я развернула переплет — там были милые смешные рисунки и даже торчал экслибрис — наподобие сургучной печати из дешевого пластилина, «моё навеки».

— Машенька, обещаю, что как кот Мурр буду твои перлы держать!... — оживленно сказала я. Вот что я прочла вечером следующего дня.

«Давно не открывала я тебя, дорогой дневник. Еще в детсадовские времена я прослушала лекцию Бориса Аверина память как собирание личности и поняла каждое слово. Здесь я расскажу о нескольких мгновениях детства, определивших меня.

30 мая.

Родилась я на кронштадтской, маленькой, неширокой улице, наполненной теплыми словами бабок, сидящих на вросших в землю завалинках, утлыми домишками, которые казались

мне верхом совершенства по моей младенческой убеждённости — в каждом таком люди живут сказочной жизнью, радуются пригредшему дню, гуляют в маленьких двориках, похожих на гротики.

У меня была крохотная часть, я всегда хотела огромного пространства, в гости к Маринке Спиряевой я приходила с воодушевлением — ее дом не был низок, лестница вела наверх, в первый этаж и три больших комнаты служили своим хозяевам сполна — столовая, родительская спальня, зал с видеком, и маленькая комнатка, в которой я не была. Однажды вечером мы смотрели кассету, играли, наряжались, приближался новый год.

Нас сфотографировали — Маринка радостно нацепила бант из-под подарочной упаковки, мне достались бледные, короткие бусики, неприятно звеневшие, холодные и дурно пахнущие лежалыми вещами и людской косностью, которая пожалела хорошего украшения гостю.

Фотография вышла странной.

Я стояла, нахмурившись, подмыхи выпирали из невесомой маечки, Маринка сияла от радости всеми лопоухими ушами и радостно гоготала.

Меня поразил контраст моего восприятия — ламповая атмосфера фильма, свет выключен, за окном снежок, фонари тускло роняют лучом снегопад, мне не хотелось уходить, хотелось остаться. А фотка выявила все недостатки, как врач на медкомиссии находит и те недуги, кои человеку и не присущи».

30 мая следующего года.

«Хочу рассказать о самом главном — я была так чиста в детстве, невинна и прекрасна

Каждый день начинала с молитвы. Смотрела на божью мать умиление и страстно молилась ей

Потом играла и расставляла куколок на утюг, прикрывала их шторками — получался изящный балдахин.

Куколки там отдыхали и набирались сил перед путешествиями на хорошей пуховой кровати, с лоскутным одеяльцем, ах!

Я была в своей спальне и рассуждала о том, что господь есть бог, но его мать — человек. всего лишь человек.

И внимательно всмотрелась в знакомый образ с опущенными смиренно глазами. Такой я представляла Богоматерь после Благовещения — вместившей всю полноту духа.

Я оглянулась — передо мной стояла она, пространство как-то расширилось, она была в синей накидке и белой поддевке, с поясом — и протягивала мне лилию, в жизни я их не видела, только на картинках.

Но я сразу узнала цветок королей франции.

Эта лилия была огромной и снежно-белой, больше меня. Аромат лилии дурманит и бесит, не хуже противного и напористого запаха нашатыря, выжигающего ноздри — это аромат был настолько тонок, так тих, к нему примешивался свежее-медовый запах, легкий и такой благоухающий, что я старалась его не уронить. Я моргнула — все пропало».

Здесь кот Мурр обрывает записи для своих мыслей и рассказ приходится заканчивать.

Конец фрагмента дневника...

Егор. Сто моих лет, которые ты мне отмерила

*У воды есть рёбра.
Когда идёт дождь, они шевелятся
Егор*

Глава первая

Вначале был не свет.

Вначале был звук и запах.

Маленький Егор лежал в детской кроватке, и мир обрушивался на него всей своей невыносимой, избыточной плотностью. В четыре года он знал, что у каждого дня есть свой вес. Понедельник пах сырой известью и маминым холодным пальто с улицы. Четверг гудел низким, медным тоном старого холодильника.

Он не умел закрываться. Когда в соседней комнате орали родители, Егор не слышал слов — он чувствовал, как физически сжимается воздух в его комнатке, как внутри каменеет, не давая сделать выдох. Он плакал не от капризов, а от того, что шерстяное одеяло кололо его шею тысячью раскаленных игл, а свет от уличного фонаря пробивал веки насквозь, рисуя в темноте страшные, багровые фосфены.

Он рос у реки. В девять лет его главным убежищем стал сухой, теплый песок под старым причалом. Там пахло гнилой сосной, тиной и ржавым железом.

У, вкусный запах. Он мог часами смотреть, как пылинки кружатся в узком солнечном луче, и в этом медленном кружении он видел Бога. Он записывал свои первые наблюдения на полях старых газет: «У воды есть ребра. Когда идет дождь, они шевелятся». Те газеты сжигали в костре, и туда бросали картошки.

Взрослые качали головами: «Странный мальчик. Слишком нежный. Слишком робкий. Жизнь его сомнет». Они не знали, что внутри этой хрупкой оболочки уже ковался тяжелый инструмент наблюдения.

Глава вторая

Юность пришла как солнечный удар — ослепительная, жестокая, пахнувшая дешевым табаком, мокрым асфальтом и её прошмандовскими духами.

В девятнадцать Егор поступил на режиссерский. Театр, институт, шумные прокуренные кухни, где спорили до хрипа о Мейерхольде и Достоевском. Для обычных парней это было время легких побед и хмельной свободы. Для Егора это была пытка. Он заходил в аудиторию и мгновенно считывал чужую ложь, чужую похоть, чужую зависть. Он видел, как у его мастера дрожит мизинец, когда тот врет о величии искусства, и эта деталь ранила Егора сильнее, чем провал на экзамене.

Его первая любовь — Катя, бледная девочка с тонкими, прозрачными ушными раковинами, сквозь которые на солнце просвечивали розовые капилляры. В их первую ночь в пустой реквизиторской Егора трясло мелкой, сухой дрожью. Он не искал простого плотского обладания. Его чувства были выкручены на максимум: он чувствовал, как её дыхание — горячее, с легким привкусом кофейной конфеты — щекочет его шею; как её ребра горячими толчками бьются о его ладони; как её пульс на артерии бьется с частотой его сердца.

Это была не просто близость. Он растворялся в ней, теряя границу своего «Я». И когда она ушла к другому — более простому, надежному, не задающему лишних вопросов, — Егор впервые понял, что такое настоящий, физический спазм сердца. Он написал свой первый сценарий за три ночи, хлебная слезы и запах канифоли в мастерской отца. Из его боли родился первый шедевр.

Зима того года стояла серая, гнилая, пахнувшая мокрым углем и дешевым табаком «Ява». В неотапливаемом репетиционном зале института сквозило из всех щелей. Огромные окна были затянуты изнутри мутной ледяной коркой, сквозь которую улица казалась смазанным, чужим черновиком.

Зима того года стояла серая, гнилая, пахнувшая мокрым углем и дешевым табаком «Прима». В неотапливаемом репетиционном зале института сквозило из всех щелей. Огромные окна были затянуты изнутри мутной ледяной коркой, сквозь которую улица казалась смазанным, чужим черновиком.

Егор сидел в темноте, слушая ровный шум дождя за окном и тяжело вздыхал, душой воя.

Егору было двадцать. Он был худым, долговязым, в заношенном отцовском свитере с растянутым горлом. Он сидел на перевернутом деревянном ящике из-под реквизита, прижав к глазу старый объектив «Гелиос», снятый со сломанного «Зенита». Он не снимал — у него не было пленки. Он просто смотрел на мир сквозь стекло, пытаясь поймать ту самую, ускользающую глубину резкости.

В зале пахло сырыми шинелями, мастикой для пола и дешевым чаем, который студенты заваривали по третьему кругу в жестяной кружке. На сцене бледная девочка-первокурсница читала монолог Сони из «Дяди Вани». Она старалась, кричала, заламывала руки, пытаясь выдать «театральную страсть». Помощник режиссера — прожженный, циничный парень в кожаной куртке — громко щелкал семечками и сплевывал шелуху прямо на паркет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.